

Москва, Комсомол — 1990 — 29 авг. — с. 4.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ репетиция травли Б. Пастернака состоялась в 1937 году на IV Пушкинском Пленуме СП СССР, посвященном 100-летию со дня смерти А. С. Пушкина. Так, А. Фадеев в своей речи заявил:

«...Возьмем Пастернака. Я думаю, что он просто находится в каком-то странном положении. Я не знаю, сам ли он до этого додумался или есть какая-то тень старых дев, которые на него дуют и раздувают это его представление, но, очевидно, он считает, что надо стоять особняком к этому общему движению народа вперед. И он «играет» в какое-то свое «особое мнение», занимает какую-то будто бы «самостоятельную» позицию, ставит себя отдельно от всех.

чалу оставили в полнейшем равнодушии, не так, как думает Фадеев — из-за зазнайства или чего-нибудь другого, а потому, что ничего похожего в себе на то, что было сказано, я не нашел — настолько это не похоже на то, что я знаю за собой и что я есть, и чем я живу.

Поэтому меня это ничуть не обеспокоило, и я прошел мимо этих утверждений и дальше стал бы работать.

В этом, в частности, ощущении совершенного спокойствия поддержал меня как раз доклад Ставского. Поддержал меня дельностью, спокойствием, плодотворностью своего тона. Он говорил о работе, призывая к работе.

История работы, судьба работы говорит в его докладе.

Во вторую очередь, это с относительным каким-то благородством стареющая западная демократия, которую ожидает расправа со стороны этого фашизма. Надо быть животным человеком с какими-то зачатками сволочизма в душе, чтобы это вообще привлекало.

Но, товарищи, гораздо интереснее — это тоска по прошлому.

Разрешите сказать несколько слов.

Допустим, это вполне возможно, что вот человек у нас в Союзе оглянулся назад и увидел бы ослепительный блистательный русский XIX век в наилучших его выражениях не с политической стороны, а со стороны литературной, той именно стороны, которая составила нашу историческую гордость и явилась залогом нашего

Союзе, какие плоды оно может дать. Но ведь этот процесс займет какое-то время.

...Относительно моей работы. Меня всегда влекла проза. Она мне с трудом дается, но именно поэтому у меня ее нет. Я сейчас работаю над прозой, и если я займусь о поэзии, то просто по старой памяти, потому что я в когорте поэтов.

Что касается поэзии, то я не знаю, что и сказать. Никаких претензий сверх тех, чтобы мне было дано работать в меру моих сил и способностей, у меня никогда не бывало.

Я еще раз повторю, что не только намеренных двусмысленностей, но и таких провалов последнего сорта, которые бы давали повод для двусмысленного понимания и в неумышленном плане — я за собой не помню. Вообще двусмысленности при настоящей любви к искусству немилы.

Если в других областях возможно какое-то вредительство, то здесь это изверское самокалечение и самокретинство.

Как можно собственную мысль, о которой заботишься, как о ребенке, калечить, скрывать, вуалировать? Если нужно что-нибудь скрывать, тогда человек не пишет, не говорит, а если он пишет и говорит, — он высказывает какую-то мысль. Конечно, тут может быть и должна быть работа, стремление к ясности. Само собой разумеется, что это как-то руководило мною.

...Важно, чтобы у самого художника не было разлада со своим делом, чтобы он мог без стыда смотреть в глаза настоящей преемственности, о которой мы говорили, не преемственности формально политической, а преемственности исторической, преемственности большого жизненного примера так, как Тихонов говорил о Пушкине в смысле заразных моральных примеров человека, который слит со временем, который не отделяет себя от времени, чтобы можно было смотреть в глаза этой преемственности, без которой не было бы живой писаной строки, не было бы нас с вами, не было бы этого зала.

Теперь о частностях... Какой-то нависший туман, идиотский туман, потому что это не тема для меня, тем мучительнее она для меня. Когда появилась книга Андре Жида, меня кто-то спросил — каково мое отношение. Должен сказать, что я этой книги не читал и ее я не знаю. Когда я прочел об этом в «Правде», у меня было омерзение не только общее, которое вы испытывали, но и свое собственное омерзение.

Речь идет о книге А. Жида, выпущенной в 1936 году, где автор недвусмысленно высказывался о культе личности Сталина и его последствиях на развитие советского общества.

Однако судьба сводила Б. Пастернака с А. Жидом еще ранее. Об этом мало кто знал, ибо книга французского писателя не увидела свет.

КОГДА в 1932 году трагически оборвалась жизнь Н. Аллилуевой — жены Сталина, в «Литературной газете» был помещен ее портрет в черной рамке и некролог следующего содержания: «Дорогой т. Сталин! Трудно найти такие слова соболезнования, которые могли бы выразить чувство собственной нашей утраты. Примите нашу скорбь о смерти Н. С. Аллилуевой, отдавшей все свои силы делу освобождения миллионов угнетенного человечества, тому делу, которое вы возглавляете и за которое мы готовы отдать свои жизни, как утверждение несокрушимой жизненной силы этого дела».

Среди подписавших некролог были Л. Леонов, Вера Инбер, Л. Никулин, В. Шкловский, Ю. Олеся, А. Малышкин, Вс. Иванов, В. Лидин, И. Сельвинский, И. Ильф, Е. Петров, М. Шагинян, А. Фадеев, П. Павленко, В. Катаев и другие. Подписи Пастернака не было. Известно, что Борис Леонидович не любил подписывать коллективные письма, потому что считал, что они написаны чужим языком. Поэтому чуть ниже некролога было написано: «Присоединяюсь к чувству товарищей. Накануне глубоко и упорно думал о Сталине, как художник — впервые. Утром прочитал известие. Потрясен так, точно был рядом, жил и видел. Борис Пастернак».

Думаю, что эти строки спасли жизнь художнику. Сталин, конечно же, их читал и запомнил. Все, что касалось его, он всегда помнил. Мог ли об этом знать Б. Пастернак? Разумеется, нет. Он жил тогда на Волхонке, 14, кв. 9 и видел через окно похоронную процессию, когда за гробом Н. Аллилуевой из Кремля на Новодевичье кладбище пешком шел Сталин.

Публикация и комментарий
Михаила ГОЛЬДЕНБЕРГА.

НА ЖЕРНОВАХ ВРЕМЕНИ

Борис ПАСТЕРНАК: «Как можно собственную мысль... калечить, скрывать, вуалировать?»

Может быть, в этом, по его мнению, состоит продолжение пушкинских традиций?

Может быть, семь старых дев стоят и дуют на него: «Смотри, вокруг тебя все маленькие, а ты вроде Пушкина — большой и самостоятельный — он никого не боялся, писал то, что считал нужным, целесообразным. Так и ты живи!».

Но и смеются над этой его «особой» позицией. Сколько времени мы разговариваем с Пастернаком, и не съела Пастернака страшная советская власть! Нет, она его не съела, советская власть, и не только она, но и вся наша общественность, все люди, которые так или иначе связаны с деятельностью Пастернака, очень много и бережно с ним занимаются, чтобы он не лез в темный угол, а развернул свой талант на пользу народу.

А если иногда в этих условиях тебе скажут слишком резковато, вот тогда уж будь действительно мудр, как Пушкин, настолько, что изволь прислушаться к голосу жизни, сумей даже и тогда, когда тебя критикуют с перегибами, услышь в этом голос истинной жизни (аплодисменты). Истину возьми, а критикующего поправь».

Борис Леонидович в своей ответной речи вынужден был оправдываться, давать объяснения, доказывать свою лояльность стране и партии. Уже сам факт, что Б. Пастернак был поставлен в такое положение, явилось унижением и кощунством по отношению к нему. Приговоздить, поставить на место, уличить, чтобы не высовывался, не зазнавался.

Б. Пастернак был вынужден доказывать, что с его стороны не было «намеренных двусмысленностей», не было «провалов последнего сорта».

Кровавый 1937 год не давал ему возможности «быть равным самому себе, быть собой».

Стенограмма выступления Б. Л. Пастернака на IV Пушкинском Пленуме СП СССР (вечернее заседание), 26 февраля 1937 г. (СТАЛИ СССР, ф. 631, оп. 15, ед. хр. 187) (считалась утерянной).

ТОВАРИЩИ!

Не ждите от меня интересной и содержательной речи, забудьте, что это происходит на Пушкинском Пленуме. Как раз ввиду того, что за последнее время — я в этом сам виноват — некоторые мои слова вели к неясности, я воздержался от участия на пушкинских торжествах. Мне казалось кощунством в отношении этого имени, этой темы подвергать ее в моих устах какой-либо превратности выражения. Это было бы кощунством, это было бы неприлично, это было бы действительно кощунством, от которого я бы никогда не отмылся.

Вот чем объясняется то, что я выступаю на этих прениях лишь во второй части. Но именно в этой второй части, где речь зашла о нас, мне брошено несколько обвинений, которые лично меня пона-

Но все это было бы так, если бы не одно соображение. Я просто подумал о том, что эти выступления могли заронить сомнения в вас, и мы бы разошлись с этого пленума, и вы бы ушли с этим сомнением.

Так нам расставаться до будущей встречи на следующем пленуме или дискуссии невозможно, нельзя.

Поэтому мне нужно объясниться. Если в этом имеется какое-то сомнение и если это нуждается в каком-то оглашении, то я должен вам заявить или напомнить, что я весь, всеми помыслами своими, всем разумением с вами, то есть со страной и с партией, — и это не только по той аксиоматической очевидности, по которой чем больше человек любит жизнь, тем больше любит Родину, и не только по внушениям долга, который даже при малейшем нравственном уровне каждому человеку доступен, а это еще и по вольному выбору, если бы он еще требовался тут, если бы он был необходим.

Нельзя сказать, и это была бы пустая совершенная фраза, что вот все идеалы человечества достигнуты и нам больше нечего делать, и мы будем жить дальше без идеалов и т. д. Все это совершенный вздор. Для того, чтобы существовать и жить, нужно стремиться к идеалам.

Идеал бесконечен, и сколько бы его ни достигали, он рождает новые идеалы. Но если есть еще такие недостижимые идеалы, то для их достижения только у нас и есть возможности, потому что только наша действительность построена в направлении этих идеалов.

Очень прискорбно, товарищи, что по моим трем-четырем оплошностям, я готов их признать, и по двум-трем обмолвкам в прениях, я должен ломиться в открытую дверь и выступать в прениях.

Представьте себе теоретически человека, ничем не удовлетворимого. Куда он может стремиться, куда может хотеть двигаться, податься? В рамках настоящего и реального человек, если ему не стоит и не сидится на месте, которое он занял, стремиться на сторону. В идее человек может тосковать по прошлому и стремиться к будущему.

Давайте разберем в отдельности все эти возможности. Что может быть на свете за вычетом нас? Это Запад, который, в свою очередь, распадается.

Что представляет собой современный Запад? Это — прежде всего фашизм с его попранием мысли, культуры и человечества. Прежде всего, на мой взгляд, это сначала самоубийство, а во вторую очередь — смертоубийство. Фашизм с его философией конца, с поклонением концу, сознательным или несознательным, не говоря о его кровавой преступности и т. д. Это в первую очередь.



национального достоинства, — потому что это были единственные поборники человечества, помимо революционных.

И человек, мечтатель этот пленился бы этим прошлым, его бы потянуло назад. Допустим, что на какой-то машине времени Уэллса мыслимо передвинуться во времени, спутешествовать туда. Но что бы он нашел? Подготовление революции нашей, растяннувшееся на 100 лет. Начало этих подготовлений.

Он застал бы десятилетие Пушкина, которому уже 100 лет со дня смерти исполнилось.

...А что такое будущее человечества? Это новая, абсолютно социалистическая демократия. Это жизнь человека в условиях освобожденного труда и освобождения мысли, предельно освобожденной.

Я понимаю освобождение мысли в смысле свободы от атак, от сил инерции, от обывательщины, от всего того, что представляет собой верх человеческой несвободы, несвободы от самого себя. ...И тут я говорю о свободе другой, о свободе внутренней. Человек собой самим подавлен в гораздо большей мере, чем что бы то ни было на свете. Со мной случались всякие казусы, если нужно — пусть мне зададут вопросы — я отвечу.

Перед этим я что скажу? На прошлогодней дискуссии о формализме я выступал, и у меня было несколько неудачных выражений. Потом я вторично выступал. Это остается в силе и сейчас. Это не то, о чем говорил Фадеев. Это меня обидело.

Он должен был бы знать, что меня всегда тяготили выгодные хвalebные ярлыки, потому что я чувствовал их несостоятельность. Стараюсь быть все же равным себе самому, быть собой и знать, что ты в меру своих сил стараешься превзойти себя в энергии, а не в заслугах, не в звании каком-нибудь и т. д.

Бывало временами, что единственной виной того, что я говорил не так, было преувеличение или искаженное представление вообще о свободе, о своей собственной. Это долгий разговор, и трудно здесь об этом говорить. Я недостаточно глубоко, зрело, умно отличал дни от годов, надо это понимать. Это моя вина, моя оплошность, недалечность. Например, я чувствую, что через год-два нравы будут такие-то. Товарищ Фадеев говорил о том, как желательно развитие нашей внутрисоветской демократии в